

М. В. Новорусский

Записки шлиссельбуржца

**Москва
«Книга по Требованию»**

М11 **М. В. Новорусский**
Записки шлиссельбуржца / М. В. Новорусский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 133 с.

ISBN 978-5-458-24152-6

«Записки шлиссельбуржца» М. В. Новорусского заключают главным образом его воспоминания, печатавшиеся в журналах «Былое» и «Минувшие годы» в 1906 1907 гг. Но к ним добавлены еще две главы, из коих одна («Статистические итоги») нигде не печаталась, а другая («Исключительный эпизод») печаталась особо в «Современном Мире». В таком виде, но с большими сокращениями «Записки» были изданы отдельной книгой на шведском языке в Гельсингфорсе в 1907 г под заглавием «I den ruska Bastihen», а на немецком в Берлине в 1905 г под заглавием «18 1/2 Jahre hinter rusaschen Kerkermauem». Немецкому издателю автор дал обещание не выпускать на русском языке отдельной книги прежде, чем выйдет она на немецком. Но немецкое издание было запрещено в России и таким образом «Записки» не могли появиться в свет до падения цензурных оков. Теперь они издаются на русском языке впервые в полном виде. Автор тщательно пересмотрел прежний текст, чтобы внести в него некоторые стилистические исправления. Коренных изменений не сделано, хотя сейчас, автор мог бы многое прибавить как о товарищах по заключению, так и о самом месте заключения. Из девяти лиц, освобожденных в 1905 г., четверо уже умерло, а о двоих нет сведений. Самое же место заключения было сначала перестроено до неузнаваемости, а в 1907 г разрушено и обезображено.

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

самые обыденные русские термины. Для зрительных упражнений были «пески» (о них позже) и серые стены. Сегодня как вчера, завтра как сегодня.

Еще нужно удивляться после этого стойкости нервной организации. Только каким-то чудом мы сохранили этот аппарат неокончательно испорченным.

При такой пониженной восприимчивости, даже на более крупные перемены в нашей жизни я реагировал только вполовину. Мне все представлялось, будто у меня действует только одно полушарие головного мозга, а другое спит безмятежным сном. А раз не было исходных возбуждений, дающих толчок внутренней мозговой деятельности, эта последняя тоже совершалась вяло и апатично. Конечно, мы не стояли на одном месте и в области многих знаний сделали более или менее серьезные приобретения. Но ведь это за 20 лет!

Нужно, впрочем, оговориться, что при такой пониженной психике (разумеется, не у всех равномерно) у нас всегда туго была натянута одна струна, которая громко звучала при малейшем прикосновении. Это была постоянная настороженность по отношению к своим мучителям и опасение с их стороны каких-нибудь новых вылазок с целью усугубить наши страдания. В силу этого все льготы и послабления, данные нам ранее, мы считали своим неотъемлемым достоянием, в защиту которого готовы были ежедневно стать в угрожающую позицию. Попытки же отнять уже раз данное повторялись весьма часто. Как будто наши враги, оперируя над нами, изучили предварительно ту психологическую истину, что всякое страдание, оставаясь неизменным, перестает ощущаться, как боль.

Если бы от такой жизни сохранился дневник, он немного помог бы теперь, потому что и самый дневник при таких обстоятельствах оставался бы столь же безжизненным, как и среда, в которой он писался.

Пробовал я в первый же год вести такой дневник, но скоро же бросил. Не говоря о том, что самые смелые надежды не давали ни малейшей уверенности вывезти такое произведение из тамошних стен, он, вероятно, и не стоил бы того, чтоб сохранять его как материал. В другой раз я приведу сохранившийся у меня отрывок, а пока скажу только, что это был скорее ряд размышлений, расположенных под числами, по поводу того, что читалось в эти дни. Все это дало бы, вероятно, историю «одного размышляющего о духа», но истории нашего быта и наших чувствований там наверное не оказалось бы.

В этом отношении наилучшим изображением наших настроений могли бы служить те стихотворения, которые умел составлять почти каждый из нас. Тюрьма, как известно, делает поэтом! Эти стихотворения не отличаются особыми поэтическими достоинствами. Но собранные вместе они имели бы для бытописателя большое значение, как живой памятник душевных переживаний, сохранившийся от тех самых дней...

Выборг,

Февраль 1906 г. {9}

{10} [пустая страница. — Ю. III]

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Как и за что я попал в Шлиссельбург.

I.

Я приступаю к этому вопросу с большим смущением. Я был причислен к категории «важнейших» государственных преступников, приговорен к смертной казни и помилован на «без срока».

Увидавши такой послужной список, читатель невольно вообразит себе какую-нибудь трагическую деталь *борьбы* за свободу, какую-нибудь частность конспиративной *деятельности*, какое-нибудь единичное организационное *предприятие*, словом, какое-нибудь *дело*, за которым последовало такое административно-судебное завершение. Увы, ничем подобным я похвалиться не могу, и в моем прошлом, можно сказать, не было никакого политического прошлого.

Я кончил петербургскую духовную академию со званием кандидата и, как один из «лучших воспитанников», был оставлен при академии в качестве «профессорского стипендиата», т. е. претендента на кафедру при академии. Прямой обязанностью моей было писать магистерскую диссертацию, темой для которой служил забытый теперь немецкий философ, психолог и педагог Бенке. Это было в 1886 году.

Почти до 1885 г. я жил уединенно в здании академии, никому не ведомый и сам никого не знающий, и, как водится, «двигал» науку. Так в шуточной форме выражались мы в товарищеском кругу

о своих занятиях, которым я предавался со страстью новичка. Предо мной только что открылись во всей своей широте обширные области знания, в которых я был чистейшим невеждой, и я впервые сознал, что семинарское образование, которое поселяет в своих питомцах чувство самообольщения и горделивого превосходства над «лжеименным» разумом, само никуда не годится. И, как человек с неглупой головой и от природы лобознательный, я жадно удовлетворял чтением поздно проснувшуюся умственную пылкость. {11}

В это время совершенно случайно до меня дошли слухи, что мои земляки (новгородцы), студенты разных учебных заведений в Петербурге, вновь организуют свое «землячество», распавшееся почему-то незадолго перед тем. Побуждаемый естественным стремлением к общительности, а может быть, и «жаждой» деятельности, я выступил впервые на общественную арену.

Завести знакомства в студенческой, да еще земляческой среде было делом нескольких недель. А через каких-нибудь полгода я уже состоял кассиром своего землячества, разумеется, тайным и подпольным.

Таковы были тогда времена, что собирать промеж себя членские взносы по 25 к. в месяц и собранными грошами снабжать в долг наиболее нуждающихся из своего кружка — считалось запрещенным делом, с которым нужно было во что бы то ни стало скрываться. Так как это «сообщество» было тайное, то тем самым оно было и «преступное». И мы, наивные души, совсем не воображали, что ведем опасную игру и стоим у границы, где вот-вот начнется политическая деятельность.

II

А политика, действительно, уже подстерегала нас. В начале 1886 г. организовался «союз землячеств», как организовывался он, может быть, десятки раз. Союз этот, среди других своих целей, как-то: саморазвитие, касса, библиотека, выставял между прочим — страшно сказать — выработку сознательных революционеров.

Я говорю об этом с некоторой иронией, потому что на самом деле никакой «выработки» не было, а были изредка собрания депутатов от землячеств, которые проходили довольно вяло и безжизненно. Надо прибавить для тех, кто вырос позднее, что это было время полного упадка революционного движения. Разгром партии только что закончился. Кто уцелел, скрылся за границу. Литературы нелегальной, ни старой ни новой, почти не было. Молодежь тогда, как и потом, была такою же молодежью, т. е. с идеальными помыслами и благородными порывами. Но самостоятельного творчества она одна не в силах проявить, и никакой агитатор не вдохнет в нее революционной энергии, вопреки мнению разных официозов, если не накопилось таковой в самом обществе.

В обществе же тогда не хватало смелости даже на открытие новых начальных школ, и оно не решалось преодолеть в этом отношении оппозицию правительственных сфер, которые относились явно враждебно к народному образованию. {12}

Единственное «дело», которое организовал наш союз, была панихида по Добролюбову на Волковом кладбище в 25-летнюю годовщину его смерти, 17 ноября 1886 г. Панихиды-то собственно не было, потому что полиция была осведомлена и на кладбище нас не пустила. Когда же мы сомкнутой толпой пошли назад в наивном расчете дойти до Казанского собора и отслужить панихиду в нем, на Лиговке градоначальник Грессер оцепил нас казаками и, продержав на сякоти часа два, распустил по домам. Задержаны были, кажется, человек 15 из тех, кто вступал в пререкания с полицией, и большинство их было выслано из Петербурга. Среди них был, между прочим, и М. И. Туган-Барановский.

III

Вскоре после этой неудачной демонстрации были выпущены прокламации к русскому обществу, которые были арестованы на почте. Но о них я лично ничего не знал вплоть до суда, где они фигурировали в обвинительном акте, как показатель деятельности «террористической фракции», бросившей якобы вызов правительству и приступившей тотчас после 17 ноября к осуществлению преступного замысла на жизнь государя Александра III.

Потом я узнал, что эта официальная версия совершенно не соответствовала действительности. Но когда и как возник самый замысел, мне было абсолютно неизвестно. В него я посвящен не был и никакой роли в осуществлении его я не играл вплоть до 7 февраля 1887 г.

Как один из депутатов в союзе землячеств, я познакомился между прочим на депутатских собраниях с А. И. Ульяновым, студентом университета. Человек он был во всех отношениях необыкновенно симпатичный. От него так и веяло какой-то особенной чистотой и благородством, и с первой же встречи нельзя было не почувствовать к нему самого искреннего сердечного влечения. Среди других студентов

он заметно выделялся по своему умственному превосходству. Но в то же время поражал своей какой-то особой скромностью, почти застенчивостью. В студенческих делах, очевидно, он играл заметную роль, судя по тому, что к его мнению всегда прислушивались с особенным вниманием.

Но так как я встречался с ним мало, да и то только на собраниях, из коих два были у него на квартире и одно у меня, то сойтись ближе с ним мне не удалось. Понятно, что на этих собраниях ни о каком «замысле» даже не заикались. И вплоть до {13} 7 февраля я совсем не подозревал, что у Ульянова, кроме союзных и студенческих дел, имеются еще и другие.

Союзные собрания с начала 1887 г. происходили реже, на них являлись неаккуратно, и они умирали, должно быть, естественною смертью. Лично же я мирно занимался своей диссертацией и даже земляков видал редко, потому что при окончании курса передал свои кассирские обязанности другому лицу.

7 февраля Ульянов обратился ко мне с запросом (сначала через лицо, оставшееся до сих пор вне подозрений), нельзя ли в моей квартире приготовить недостающие 3 ф. динамита, который ранее приготовлялся в другом месте, но теперь продолжать там работу стало неудобно. У меня это было тоже неудобно, и я решительно отказал, чем доставил ему явное огорчение.

В разговоре между прочим я вспомнил про новую квартиру в Парголово, куда собирался переехать на днях на дачу — частью из материальных соображений, а частью ради тех удобств, которые представляло уединение для моих занятий. Там жила М. А. Ананьина, служившая земской акушеркой, с которой совместно я содержал и петербургскую квартиру, так как дочь ее, Лидия Ивановна, учившаяся в учительской семинарии, жила вместе со мной. Я ничего не знал о квартирных условиях Парголово и об удобствах, которые искал Ульянов, и потому сделал запрос в этом отношении Марии Александровне.

Получивши ее согласие, я условился с Ульяновым, что он доставит в мою квартиру всю свою лабораторию, а я отправлю ее в Парголово вместе с мебелью и кухонной посудой, для перевозки которой уже наняты были подводы из того же Парголово.

Лаборатория и была доставлена мне, но не Ульяновым, а Канчером, которого я никогда раньше не видывал и который потом выдал меня и многих других, судившихся с нами. Самого Ульянова я больше уже не видал вплоть до скамьи подсудимых. Он съездил в Парголово на несколько дней, приготовил, что было нужно, и уехал, оставив там не только лабораторию, но и несколько унций нитроглицерина, оказавшегося для него излишним, который он поручил там вниманию М. А. Ананьиной.

Вероятно, она думала, что у нас с Ульяновым было на этот счет какое-нибудь условие. А когда я сам переехал туда, то это оказалось для меня неожиданным. Обстоятельство это я решил выяснить при первой же поездке в Петербург и при свидании с Ульяновым. Но этой поездке не суждено было состояться, потому что 3-го марта я был арестован «с поличным». {14}

Как человек, стоящий вне организации, я считал совершенно неуместным обращаться к Ульянову с какими бы то ни было расспросами о подробностях готовящегося покушения. Да Ульянов, наверное, и не ответил бы мне на основании самого элементарного правила всякой конспирации: «каждый должен знать только то, что он сам делает». Я же считал, что, предоставляя квартиру, да еще не свою, я, собственно говоря, ничего не делаю, а играю совершенно пассивную роль передаточной станции. На такую роль, насколько мне было известно тогдашнее настроение, согласились бы многие из моих знакомых, если бы, конечно, гарантирована была им безопасность.

IV

Так как квартира, где делались самые снаряды и приготовлялся остальной динамит, не была найдена, а для «округления» дела нужно было показать, что оно раскрыто полностью, то нашей квартире суждено было нести ответственность и за то, что в ней совершалось, и за то, чего вовсе не совершалось. Этому посюдействовал еще и я сам своею чисто детской наивностью. Дело в том, что в крепости, куда я был посажен на другой день после ареста, я не просидел и недели. У меня там случился какой-то нервный припадок, после которого вскоре меня перевели в дом предварительного заключения. На допросе Котляревский (товарищ прокурора, который тогда производил дознание по политическим делам в Петербурге, совместно с жандармами и П. Н. Дурново, тогдашним директором департамента полиции, — мы с ним встречались ранее в доме одного протоиерея, и его участие ко мне могло объясняться вниманием к старому знакомству) сказал, что это он постарался перевести меня в виду моего нервного расстройства и в уверенности, что здесь мне будет лучше. На самом же деле он посадил меня там рядом с предателем, каковым оказался А. П. Остроумов, известный с этой стороны многим южанам, моим современникам. Он, конечно, обучил меня «стук», я проявил быстрые способности, и через неделю мы

уже болтали. На мой вопрос, за что он посажен, он ответил с краткостью, которой требовал самый способ речи и мой слабый навык в ней.

— За бомбы.

Я в свою очередь на его вопрос ответил в унисон:

— Я тоже за бомбы.

Свою любознательность к моему делу он проявлял с такой откровенностью, что только такой необстрелянный пленец, как я, и мог вести с ним длинные разговоры, совершенно не подозревая до самого Шлиссельбурга его настоящей шпионской физиономии.

Вскоре после этого «признания», действительно, было построено обвинение меня в делании бомб, и построено по всем правилам жандармского следственного искусства.

У меня в квартире было несколько десятков книг, большею частью из академической библиотеки. В все их я отлично знал по внешнему виду. Однажды, как только привезли меня на допрос, Котляревский показывает мне одну из моих книг (Льюиса, кажется «Физиологию обыденной жизни») и спрашивает:

— Ваша это книга?

Я отвечаю:

— Моя.

Он отодвигается от меня подальше, медленно и с явной предосторожностью вынимает из этой книги чистый конверт, еще медленнее заглядывает внутрь его. Я невольно улыбаюсь.

— Да вы, говорит, не смейтесь! Это очень серьезно.

Я становлюсь серьезным и жду. Из конверта наконец появляется кусочек переплетной зелено-мраморной бумаги, весьма распространенного рисунка, величиной не больше 1 кв. сант.

Это было так для меня неожиданно, что я снова улыбаюсь, снова получаю замечание и наконец выслушиваю ряд вопросов. Требуется объяснить, каким именно образом попал этот кусочек в мою квартиру и в частности в мою книгу.

Я объяснить не в состоянии.

Тогда, чтобы доконать меня окончательно, Котляревский объявляет, что этот кусочек отрезан от того самого листа, от которого отрезаны другие такие же кусочки, употребленные для заклейки винтов у одного из снарядов.

Наконец-то я начинаю понимать! Очевидно, я делал бомбы, оклеивал их переплетной бумагой и следов своей оклейной работы не успел уничтожить. Какой-нибудь самый ничтожный кусочек, на который менее гениальный сыщик никогда бы и внимания не обратил, теперь выдает меня головой и ведет прямым путем к эшафоту. Изволь тут оправдываться, как хочешь, когда улика налицо!

Забавнее всего в этой трагикомедии то, что они напали на человека, который в химии был тогда столь же сведущ, как и в абиссинской литературе, и который с клейстером имел такое же знакомство, как и с японской инкрустацией. Во всей квартире, а я жил семейно, никто ничего не клеил, не покупал цветной бумаги, не резал ее и не мог оставить обрезков. В книге, (16) уже ветхой и многократно читанной, он не мог удержаться столько лет со времен ее переплета.

Конечно, мое отрицание было приписано моему запирательству, а книга с конвертом была отправлена в суд, где и фигурировала на столе среди других вещественных доказательств.

Сорвалось только с экспертом. Позвали обыкновенного переплетного мастера, обошли его как следует, и он показал то, чего им хотелось, т. е. что предъявленный ему кусочек, найденный якобы у меня, отрезан от того самого листа, от которого отрезаны и другие кусочки, прикрывающие винты на снаряде. Но на суде под присягой этот эксперт отказался от такого удостоверения и показал, что все листы до такой степени сходны, бумага этого типа так распространена, что ни один опытный мастер не может утверждать ничего подобного и не в силах отличить, от какого именно листа отрезан тот или другой кусок.

Так эта улика и была похоронена, и прокурор уже не рискнул опереться на нее. Подозрение же все-таки было брошено и, может быть, повлияло на дальнейшую мою судьбу.

V

Как бы то ни было, улики против меня было и без того достаточно. Не говоря уже о том, что по согласному показанию некоторых свидетелей ко мне ходило много народу (Ага! стоял, значит, в центре организации!), и что я переехал на дачу в феврале месяце, когда никто из благонамеренных граждан в Петербурге еще не помышляет о дачах,— нитроглицерин все-таки у меня хранился.

Хранился он, правда, крайне небрежно, и в комнате, где он стоял, дети невозбранно поднимали такую возню, что весь пол дрожал. Но этому на суде, конечно, не верили, потому что правительственный эксперт и притом генерал-майор, между прочим, уличенный Ульяновым на суде в незнании способа приотворения динамита, авторитетно заверял, что нитроглицерин взрывается от малейшего сотрясения. И согласно этому пристав тщательно расписывал, с какими скрупулезными предосторожностями он перевозил на лошади склянку с ним из Парголово в Петербург на расстоянии 18 верст.

Наконец динамит все-таки делался на той даче, в которую я затем переехал, и материалы для его производства действительно прошли через мои руки.

Теперь трудно даже вообразить себе, с каким юношеским легкомыслием мы согласились с Ульяновым одинаково давать показания на случай (совершенно невероятный случай!), если {17} я буду привлечен к делу. Так как я стоял в стороне от него, то ему казалось желательным выгородить меня из него совершенно и придать своей поездке в Парголово деловой, но совершенно невинный вид. Он едет туда в качестве репетитора к Коле, сыну М. А. Ананьиной, и как студент и химик берет с собой лабораторию для личных занятий.

В таком смысле я дал свои показания, а с тем вместе сразу же стал на путь ложных показаний. Как ни противно и тяжело это было, но я остался на нем до конца. Может показаться невероятным, но я совершенно не знал тогда, что подсудимый имеет право отказаться давать показания. Поэтому мне предстоял тяжелый выбор или упорствовать во лжи, или, выдавая себя, выдать вместе с тем и близких мне лиц, а в том числе и все землячество и союз землячеств.

Нет!— решил я тогда. Другого выхода не может быть. Лучше я все претерплю до конца, вплоть до этой мучительной лживости, но на предательство не пойду.

Один только раз, чуть ли не на последнем допросе, я долго колебался, когда Котляревский предложил мне взять на себя все дело устройства конспиративной квартиры в Парголово, и тем избавить М. А. Ананьину от всяких преследований.

Соблазн был очень велик, и я, может быть, не устоял бы. Но меня удержало то соображение, что человеку, правдивость которого уже заподозрена, не поверят и тогда, когда он расскажет одну правду.

Впоследствии я понял, что дело для них не в правде и неправде, а в том, чтобы раскрыть если не все, то как можно более, в той области «неразгаданного», которая в нашем деле была довольно обширной. Известно ведь, что дела подобного рода для них сущий клад, потому что за умелое раскрытие их им дают чины, высокие посты и др. награды.

Но я, увы, не мог бы при всем желании удовлетворить любознательность Котляревского, и мои истинные показания, наверное, были бы сочтены за неполные и потому неудовлетворительные и недостоверные. Понял я также после, что их совершенно не беспокоит и вопрос о том, как «избавить то или другое лицо от преследований». Участь каждого из нас они по произволу могут решить и так, и этак. Так, вначале они колебались, составить ли судебный процесс только из лиц, взятых на улице с бомбами. Потом же решили придать ему как можно более грандиозный вид и, показавши громадные размеры «гидры», тем лучше оттенить все величие победы над ней. На мой вопрос на последнем допросе Котляревский ска- {18} зал, что, может быть, мое дело окончится административно, а на суд будут поставлены только главные виновники.

Я уехал в тюрьму успокоенный и начал предаваться мечтам о ссылке.

VI.

Как вдруг, 2-го апреля мне вручен был обвинительный акт со всею торжественностью, которая в таких случаях, должно быть, всегда соблюдается. Он был для меня столь же интересною новинкою, какою был бы тогда и для всякого другого обывателя, до которого доходил слух о покушении, но кроме голого слуха ничего больше. Там перечислялись 15 человек (Генералов, Андреюшкин, Осипанов, Канчер, Гаркун, Волохов, Ульянов, Шевырев, Лукашевич, Ананьина, Пилсудский, Пашковский, Шмидова, Сердюкова и я), которые все были отнесены к «террористической фракции партии Народной Воли», и говорилось, что все они «согласились между собой» посягнуть на священную особу государя императора.

Из этих лиц, «согласившихся между собой», мне был известен более или менее только один Ульянов. Раза два-три я встречался также с Шевыревым и Лукашевичем, как студентами. Первый, устроивший тогда студенческую столовую при университете, носился с планами организации разных кружков саморазвития и был поэтому хорошо известен в студенческой среде. А Лукашевича я встречал в Научно-Литературном обществе при университете, которое потом было закрыто после нашего дела, а

также на собрании депутатов от землячеств. Благодаря своему громадному росту, он во всякой толпе был головой выше других, и потому всякий, встретивши его однажды, невольно запоминал.

М. А. Ананьина, которая тоже «согласилась» с прочими, знала только меня, как своего нареченного зятя, и Ульянова, которого она никогда ранее не видывала до приезда к ней на дачу с указанною выше целью.

Из обвинительного же акта я впервые узнал, что Генералов, Андреюшкин и Осипанов с бомбами в руках, а Канчер, Гаркун и Волохов в качестве разведчиков выходили на Невский три раза, 26, 28 февраля и 1 марта, в расчете встретить случайно проезжавшего государя, и, не встретивши его, были арестованы 1 марта сыщиками, которые давно уже следили за ними.

Все мы предавались суду особого присутствия правительствующего сената с сословными представителями. Председатель {19} (первоприсутствующий) П. А. Дейер самолично вручал обвинительный акт каждому из нас. Благодаря полному невежеству в области судопроизводства, я не заявил ему своевременно о желании иметь защитника и таким образом, к стыду своему, должен был защищаться сам. Председатель, же перед началом суда, перечисляя защитников у других подсудимых, обо мне почему-то провозгласил:

— Новорусский защитника иметь не пожелал.

На суде, несмотря на трагизм положения, я очень часто иронически смеялся. До такой степени казалось мне невероятно-забавным то легкомыслие, с каким многие серьезные и высокопоставленные мужи относят меня к числу величайших государственных преступников, которых нужно карать строжайшим образом, и для этого подыскивать в юридическом лабиринте самые подавляющие доводы.

Настолько-то я все-таки был сведущ и понимал, что всякое подобное преступление, как бы мы ни оценивали его значение для народного блага, требует для своего осуществления людей высокого героизма, самоотверженности и мужества. А во мне все нутро, воспитанное в школе рабства и угнетения, трепетало от робости, при которой для меня невозможно было какое бы то ни было смелое и решительное дерзновение. И я совершенно искренно считал себя безусловно неспособным, на подвиг и величие, будет ли в этом величии заключаться великое преступление, как думали судьи, или великое благодеяние.

Из недавнего еще тогда прошлого мне припоминались образцы лиц, смело бросивших вызов всесильному абсолютизму, мужественно до конца защищавших свою правоту и стойко принявших наложенное на них и ожидаемое ими возмездие. И вот, в той же зале, через которую, раньше меня прошло столько отважных и где гремели их речи, полные негодования, любви к меньшему брату и восторженного желания пострадать за свои убеждения, — в этой зале сижу теперь я, безобидное мирное существо, никогда в жизни не державшее в руках никакого оружия.

Как! я — политический преступник, да еще важнейший! я, политическое образование которого стояло тогда на уровне нуля и который не в силах был обозначить в самых общих чертах, какого же собственно переворота мне желательно? Как! я — политический преступник, я, кандидат духовной академии, которому эта высшая школа не внушила ни зерна гражданского мужества, который не вынес из нее сознания даже того политического принципа, что воля нации есть единственный законный устроитель государственного быта, и что каждый член этой нации имеет не {20} только право, но и обязан принимать участие в этом устроении. А ведь из этой же самой академии вышел когда-то Сперанский, который положил основы русской государственной науки и который еще 65 лет тому назад писал: «Основные государственные законы должны быть делом нации и выражением ее воли».

К сожалению, даже об этом я узнал гораздо позднее.

Не думаю, чтобы я ошибался в такой самооценке. Но прокуроры, которым по штату полагается уменье читать в сердцах, очевидно, были другого мнения. Они сочли меня крайне зловердным и опасным, мое смешливое настроение приняли за насмешливое отношение к суду, поставили его мне в сугубую вину, приписали это, в связи с моим упорным заперательством, моей крайней испорченности и умыли руки, подписавши смертный приговор столь порочному и преступному типу.

VII.

Суд происходил 15—19 апреля и закончился произнесением смертного приговора в предварительной форме. В тот же или на другой день, под влиянием продолжительных и настойчивых убеждений своего соседа-шпиона, имевшего тогда в моих глазах огромный вес, я подал прошение на высочайшее имя. В нем я писал в выражениях, которые никогда с тех пор не могу вспоминать без нравственной боли, жалобу на строгость приговора и просьбу сохранить мне жизнь и отправить меня в ссылку. На 3-й, должно быть, день после этого читался приговор в окончательной форме, и пред этим было объявлено

мне, что мое прошение оставлено без последствий. У меня сохранилось убеждение, что оно не ходило по назначению, да за краткостью времени и не могло вернуться. Насколько припоминаю теперь, оно по форме своей подходило под категорию тех жалоб и прошений, которые остаются без рассмотрения, так как не заключало в себе сознания вины и выражения раскаяния.

В окончательной форме приговор был произнесен, должно быть, 22 или 23 апреля, и еще с неделю вслед за этим я оставался в предварительном доме. С этих пор отношение ко мне там несколько изменилось. На прогулку меня стал сопровождать дежурный вплоть до выхода на двор, чего не делалось раньше, а на ночь с 9 ч. вечера оставляли форточку в двери открытой и запрещали тушить огонь, очевидно, в тех видах, чтобы я «не учинил над собою какого дурна» и не вырвал из рук правосудия его жертвы.

Затем я опять был перевезен в Петропавловскую крепость, сердечно распростившись с единственным своим соседом, {21} которого я считал товарищем по заключению, но который был просто «помощником правосудия». Мне думалось, что перевозят меня для исполнения казни. В крепости я просидел три дня и прислушивался к ударам топора во дворе, полагая, что это создается нам общий эшафот.

Но эшафота мне видеть не пришлось. Кажется, 3-го мая вечером неожиданно со свитой вошел ко мне комендант, глухой старик, с бумагой в руках, и объявил, что «государь император, по неизреченному своему милосердию, высочайше повелеть соизволил: даровать жизнь такому-то и заменить смертную казнь ссылкой в каторжные работы без срока».

Я спросил его, не может ли он мне сказать, куда меня пошлют отбывать каторжные работы, и получил краткий и решительный ответ:

— В рудники! В рудники! — вторично повторил он, направляясь к выходу.

Дверь захлопнулась, и я остался мечтать о прелестях рудничных работ и о сибирской жизни.

Испытывали ли я удовольствие от такого подарка?

Не берусь теперь (март 1906 г.) верно воспроизвести настроение, пережитое тогда, но помнится, что радости никакой я не ощущал. С мыслью о смерти я уже успел свыкнуться и мирился с нею, как с неизбежным. Быть может, в самый момент, при виде эшафота, я и побледнел бы, как это бывает со многими. Но заранее и в воображении я взирал на него довольно спокойно с чувством фаталиста, уверенного в том, что «чему быть, того не миновать». Раз попал в руки людей, которые играют твоею жизнью по своему усмотрению и спокойно говорят тебе: «может быть, я тебя съем, а может быть, помилую», тебе остается утешаться мыслью, что положение жертвы при таких обстоятельствах неизмеримо почтеннее, чем роль палача.

Являлось только чувство досады: умирать и ни за что! Уходить из жизни бесследно, ничего не совершив! Не мог же я утешать себя мыслью, что это за то, что и у меня были благие порывы, что и я мечтал о счастье и процветании своей родины, что и я инстинктивно возмущался против того бессмысленного и свирепого полицейского гнета, с которым тогдашний студент сталкивался на каждом шагу.

Как бы там ни было, жизнь я получил. И при этом не воображал, что еще много раз потом мне придется жалеть об этом и завидовать тем, которые вместо медленного умирания получили быструю смерть. Сколько раз потом я призывал ее вновь и долго, мучительно долго лелеял мысль о ней, как единственной {22} избавительнице от того высочайшего дара, который мне теперь преподнесли и который сумели превратить в бесконечную утонченную пытку!

VIII.

На другой день после этой объявки, около полуночи, я был разбужен дежурным. Он приглашал меня одеть свой костюм и следовать за ним. Мы поднялись наверх, вошли в какую-то большую комнату, сплошь наполненную солдатами, где мне предложено было присесть. Осмотревшись близорукими глазами (очки были отобраны, равно как и золотой тельный крестик, золотое колечко и часы, — все эти предметы исчезли бесследно для меня), я увидел у другой стены на скамье фигуру в черном пальто, в которой потом я узнал И. Д. Лукашевича.

Офицер сам подошел ко мне и, указывая на него пальцем, сказал, что мы можем говорить друг с другом.

В это время рядом за дощатой стеной слышался постоянный лязг железа. По звуку мы скоро заключили, что это отбирают кандалы из склада, не весьма бедного ими. Вскоре мимо нашей двери, неплотно закрытой, провели толпой одного закованного, затем с некоторыми промежутками второго, третьего, четвертого... Мы не считали, сколько именно прошло, и ждали своей очереди.

Кандалов, однако, нам не дали, и я так до сих пор и остаюсь бывшим ссылочно-каторжным (из тяжких!), который никогда в жизни не видывал кандалов. Из всех наших современников, сопровожда-

давшихся в Шлиссельбург, не были закованы по дороге в него, насколько я знаю, только Лукашевич да я. Даже обе наши дамы, Фигнер и Волкенштейн, шли туда в наручниках. И мне совершенно неизвестно, кому или чему мы были обязаны этой льготой или «милостью». Особенно странно это для Лукашевича, атлетическая фигура которого не могла не внушать опасений.

Итак, без всяких особых церемоний, офицер пригласил «пожаловать» сначала Лукашевича, проводил его со значительной свитой и скоро вернулся ко мне. Мы спустились вниз, затем к выходу, и не успел я оглянуться в полумраке весенней ночи, как очутился в карете, рядом опять с Лукашевичем. Напротив нас сидели, как водится, два жандарма.

Карета тронулась в путь, но скоро остановилась, и нас с той же постепенностью попросили выходить. Конечно, шли мы не просто, а ведомые, точнее — влекомые под руки двумя дюжими молодцами, которые так спешно и старательно исполняли {23} возложенное на них поручение, что первая мысль, которая мелькнула при этом, была мысль о потоплении: «не топить ли меня ведут?». И неудивительно: перед глазами открывалась широкая гладь Невы, пустынной в этот час ночи, и от самой воды нас отделяла только узкая полоса берега, десятка в 2—3 шагов. Влекли меня с такой быстротой, что, прежде чем я что-нибудь увидал, меня втолкнули в какой-то люк, и я очутился не на дне Невы, а в каюте маленького пароходика, довольно комфортабельно обставленной, и опять в обществе Лукашевича.

В каюте мы были одни, и в течение всего пути офицер заходил изредка, приятно улыбался, но был неразговорчив. Остальной же стражи мы вовсе не видали. Дорогой нам предложен был чай с булками, — очевидно, какая-то фея заботилась о наших нуждах.

Почти ровно 18 $\frac{1}{2}$ лет спустя мы возвращались с Лукашевичем (в обществе уже Морозова и Лопатина) на таком же пароходике по той же самой Неве, но с другими чувствами. Любопытно, что теперь (в 1905 г.) наша стража была почему-то неразлучна с нами в каюте, и об угощении нас чаем никто не позаботился.

По поводу невольных страхов пред ночным утоплением я скажу кстати два слова о пытках. На воле мне не раз приходилось слышать упорные слухи, что подследственных, особенно в таких делах, как наше, пытаются. Когда меня привезли первый раз на допрос на Гороховую ул., 2, то в ожидании очереди посадили в совершенно пустую камеру с отбеленными стенами. На них, на высоте моего лица, в 2 местах ясно были видны брызги, которые я принял за брызги свежей крови. Какое впечатление произвело это на меня, понятно всякому. Прибавлю, что за дверью, как раз напротив, слышался резкий лязг железа, который можно было принять за переключивание орудий пытки. Была ли это «хозяйственная» случайность, устроено ли нарочно, с целью произвести психическое воздействие, не берусь сказать. В этой камере потом мне пришлось быть несколько раз, ничего нового я больше не видали не слышал. Лукашевичу же Котляревский прямо сказал, должно быть, в тех же видах воздействия, что у них есть средства заставить давать показания.

IX.

Когда мы выехали из Петербурга, мы еще терялись в догадках, куда собственно нас везут. На расспросы офицер упорно отмалчивался и неизменно повторял:

— А вот скоро увидите {24}

Скоро мы, действительно, остановились у пристани и ждали здесь более часа. Очевидно было, что мы приехали и что дальше нас не повезут. По времени и по тому, что мы ехали Невой (берега чуть-чуть виднелись в маленькие окна каюты), мы заключили с несомненностью, что приехали в Шлиссельбург. На мои расспросы об условиях жизни там офицер, улыбаясь, столь же загадочно отвечал:

— А вот сейчас увидите.

Всякое уголовное преступление карается определенным наказанием, и в уставе о ссыльных с большой обстоятельностью описано, в чем состоит и как протекает наложенная законом кара. Для политического же преступника, который якобы подлежит ответственности по тому же кодексу, совершенно обратно, считаются необходимыми неизвестность предостоящего ему возмездия и таинственность обстановки, в которой препровождают его в неведомое узилище. И до самых последних дней жизни там нам стражайше запрещалось писать что бы то ни было об условиях, в которых мы живем.

Таинственность, окружавшая это лобное место, и спасительный страх, который якобы нагоняло напуганное воображение на обывателей, считались в высших полицейских сферах самым действительным и надежным оплотом против революции. Что такова именно была государственная мудрость командующих над нами лиц, об этом мы не раз получали верные известия из самых первых рук.

Между тем мы с Лукашевичем терпеливо ждали и не мучились в бесплодных догадках и опасениях расстаться друг с другом надолго, быть может, навсегда. Наконец мы дождались. предложено было выходить опять в том же порядке, сначала ему.

Примерно через $\frac{1}{4}$ ч. пришли затем за мной, и я совершил вступление в знаменитую крепость тем же торжественным и триумфальным маршем, каким, вероятно, входили и все другие мои товарищи по процессу. в ярком сиянии майского утра, со свитой человек в 12 высших и низших чинов и также весьма заботливо поддерживаемый под руки.

Легкомысленный юношеский ум старался и тут в трагизме положения замечать одни смешные стороны. Ведение под руки в такой большой толпе, да еще в глухих стенах крепости, да еще на острове, было таким ненужным избытком усердия, который казался мне придуманным нарочно не то для забавы, не то для вящего усиления престижа моей персоны. И память почему-то подсказала как раз подходящий к данному случаю стих псалма: «На руках возмут тя, да не когда преткнешиси о камень ногу твою» (Пс. 90, 12). {25}

Прошли мы, наконец, через всю крепостную площадь, прошли кордегардию, сквозь которую вошли на тюремный двор, и когда стали приближаться к приснопамятному отныне «Сараю», я не мало был удивлен его, можно сказать, кокетливым видом. Низкое длинное здание, с полом на одном уровне с почвой, недавно, должно быть, штукатуренное, ярко белело на солнце, а у основания стены желтела масса одуванчиков, только что раскрывших свои венчики в лучах его. Такою же толпой и так же под ру-

Вход на тюремный двор. Слева здание кордегардии, сквозь которое всегда входили идущие в тюрьму. Впереди часть новой тюрьмы. Справа часть ограды у братской могилы.

ки несмотря на то, что мы были уже на третьем дворе, за третьими воротами, я был введен в место своего «вечного» упокоения. И только после того, как я очутился в камере, я почувствовал, что мои руки отпущены, и понял, что нахожусь у самой цели своего путешествия.

Не успел я опомниться, как был раздет донага, обыскан с такою тщательностью, о которой в подробностях можно писать только в специально-медицинском журнале, и одет в грубое белье. На ноги дали мне необыкновенных размеров башмаки, {26} на плечи накинули старый арестантский халат с буб-

План старой тюрьмы («Сарая») с десятью камерами. *д* — кухня. *в* — ход на задний двор (здесь казнили Балмашева и Конопляникову). *с* — ход в камеру Иоанна Антоновича. {27}

новым тузом на спине, и преобразование мое оказалось вполне законченным. Весь туалет совершался в присутствии начальника Шлиссельбургского жандармского управления (полковника), его двух помощников, доктора и соответственного количества нижних чинов. На лицах у всех было суровое выражение, гармонировавшее с величием минуты, а на устах — совершеннейшее безмолвие.

Вход в крепость сквозь «Государеву» башню. Над воротами госуд. герб и над ним надпись.

Когда я был совершенно готов, мне скорее жестами, чем словами указали на необходимость идти куда-то вдоль коридора, и не прошло одной минуты, как я очутился у двери № 8-го, вошел в нее и был моментально захлопнут наглухо.

X.

Это был конец моего короткого путешествия, конец и моей молодой жизни. Мне только недавно исполнилось 25 лет. Из них 14 л. я провел в глухих стенах закрытых учебных заведений и только 6 месяцев «на воле». Конец надеждам, молодым стремлениям и исканиям лучшего будущего, конец гордым думам, горячим порывам и тому высокому воодушевлению, которое окрыляло юношеские мечты и заставляло подчас невольно повторять вместе с поэтом:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Здесь порывы твои заглохнут. Здесь потухнет пламя, согревавшее тебя. Здесь думы твои будут долго и безнадежно биться, подобно птице в клетке, и, после многократных попыток найти какой-нибудь выход, преждевременно угаснут. Здесь частой гостьей твоей будет апатия и равнодушие. Здесь не раз тоска сожмет тебе сердце своими острыми когтями, и чувство пустоты, бессмысленности и полной никчемности твоего прозябания будет преобладающим у тебя чувством.

Да, здесь испытаешь ты, может быть, такие муки ада, с которыми фантазия Данта не была еще знакома и для которых поэт не найдет достаточно выразительных и наглядных образов.

На вратах нашего Ада не было дантовской надписи. Там стояла просто золотая надпись, уцелевшая, кажется, со времени Петра I: «Государева». Так называлась башня, сквозь которую тесным и низким изгибом шел единственный вход в крепость. Но мы потом шутили не без основания, что в этой надписи есть недоговоренность и что нужно читать:

— Государева тюрьма. {29}

ГЛАВА ВТОРАЯ.

«Счастье духа в том, чтобы быть помазанным слезами и посвященным на заклятие».

Ницше.

Первые шаги.

I.

Камера, где я очутился, была довольно просторная, шагов в 10 по диагонали, почти пустая и очень сумрачная.

В одном ее углу помещалась круглая железная печь, крашенная охрой, которая топилась с коридора. У одной стены стоял маленький деревянный столик, крытый буро-желтым лаком и прикрепленный к ней наглухо железными крючками. У противоположной стены помещалась железная кровать, вращавшаяся на шарнирах, вделанных в стену, и опиравшаяся на пол только двумя ножками. Благодаря такому устройству ее можно было поднимать и опускать, как любую крышку ящика. Поднявши ее вертикально (ребром), можно было защелкнуть за крюк, вделанный в стену нарочно для этого, и замкнуть в таком положении на замок. На кровати находился мочальный матрац, довольно новый, крытый черно-серым одеялом с синими полосами. Простыня и наволочки из тонкого холста. Наконец в углу неизбежный стульчак в виде опрокинутого конуса и возле него, на высоте стола, железная эмалированная раковина, а над нею медный кран водопровода.

На стене, приклеенная хлебом, висела инструкция, заменявшая нам свод законов, где между прочим с особенною заботливостью были выставлены 50 розог и смертная казнь, как наказания, налагаемые: первое — в административном, порядке, второе — в судебном. Эта инструкция менялась затем несколько раз. Но ни одну из них не дерзнул подписать своим именем сочинитель ее, как бы стыдясь своего произведения, достойного того, чтоб его занесли когда-нибудь на мраморную доску. {30}

На подоконнике к раме была как-то прицеплена ниткой маленькая деревянная икона в 4×3 д. Висеть ей на гвоздике не полагалось, так как самый маленький гвоздик мог дать заключенному или опасную идею, или опасное орудие.

Больше в камере не было решительно ничего. Стены были выбелены известкой и только снизу, на высоте 1 арш. от полу, выкрашены коричневой краской. Пол был асфальтовый, ничем не крашенный и потому не только грязный, но и не отмываемый: благодаря крайне шероховатой поверхности тщетны были все усилия придать ему приличный вид.

Окно было сравнительно большое, в 9 стекол, по 3 в ряд; начиналось оно на высоте моего роста и кончалось у самого потолка, точнее — у вершины свода, так как потолок был сводчатый. Сильно скошенный подоконник был вычернен. Рамы толстые, массивные, двойные; за ними, конечно, решетка, стекла матовые; все это пропускало слишком мало света. А так как, сверх того, против самого окна, саж. в 4 от него возвышалась крепостная стена, которая позволяла видеть только самый маленький клочок неба, — к тому же окна были на север, — то неудивительно, что в этом склепе царил постоянный мрак. И яркое весеннее солнце, которое резало отвыкшие от света глаза при выходе на двор, ухитрялось заглянуть ко мне в окно только на $\frac{1}{2}$ часа, да и то около 7 часов вечера. В пасмурные дни читать было почти совсем невозможно.